

A movie poster for the film 'Отвергнутая Альфой'. The scene is set in a rustic bakery. A woman with long brown hair, wearing a brown dress and a light-colored apron, stands behind a wooden counter. She is holding a large, round loaf of bread. Two young children, a boy and a girl, are looking up at her with interest. In the background, a man in a dark, heavy winter coat with a fur collar stands near a window, looking out at a snowy landscape with a wooden house and a dog. The title 'Отвергнутая Альфой' is written in a large, ornate, gold-colored font across the middle. Below it, the subtitle 'ПЕКАРНЯ ДЛЯ ВОЛЧАТ' is written in a similar but slightly smaller font. The overall atmosphere is warm and cozy, contrasting with the cold winter outside.

Диана Фурсова

ОТВЕРГНУТАЯ
АЛЬФОЙ

ПЕКАРНЯ
ДЛЯ ВОЛЧАТ

Диана Фурсова

Отвергнутая альфой.

Пекарня для волчат

<https://litres.ru/74205729>

Аннотация

В день, когда альфа отверг меня перед всей стаей, мне оставили только старую пекарню на краю поселения. Холодную, заброшенную, почти мёртвую.

Они думали, я сломаюсь.

Но ночью у моего порога появился первый волчонок — голодный, испуганный, с меткой изгнанного. Потом пришли другие. Дети, от которых стая отвернулась. Дети, которых хотят забрать и разлучить.

А старая печь вдруг ожила.

Теперь Совет требует закрыть пекарню, новая избранница альфы хочет стереть меня из его жизни, а сам Рейнар слишком поздно понимает: он отнял у меня не только дом. Он отнял имя, защиту и право быть услышанной.

Но я больше не та женщина, которую можно выгнать одним словом.

Если этот очаг признал меня хозяйкой, я не отдам волчат тем, кто уже однажды бросил их на холоде.

Содержание

Глава 1. Отверженная у очага	4
Глава 2. Пекарня, где пахнет домом	25
Глава 3. Волчата не товар	55
Конец ознакомительного фрагмента.	82

Глава 1. Отверженная у очага

Я поняла, что больше не жена альфы, в тот миг, когда в зале Совета стало слишком тихо.

Не просто тихо — мёртво. Даже огонь в высоком каменном очаге будто прижался к углям и перестал потрескивать, хотя ещё минуту назад пламя шумело так жарко, что от него горели щёки. За узкими окнами волчьего дома лежал снег, во дворе ждали стражи, у входа толпились старшие семьи стаи, а внутри, под резными балками и потемневшими от времени знамёнами рода, Рейнар стоял напротив меня и смотрел так, будто уже всё решил.

Я тоже стояла.

Не потому, что держалась гордо.

Просто если бы села, ноги могли больше не поднять меня.

— Алиса больше не занимает место хозяйки волчьего дома, — произнёс Рейнар.

Его голос прокатился по залу ровно, глухо, без дрожи. Так объявляли приговоры. Так отдавали приказы перед зимней охотой. Так ставили печать на чужой судьбе, когда не хотели слышать, как она трескается.

Я смотрела на него и всё ещё ждала, что это какая-то ошибка. Что сейчас он повернётся ко мне, увидит мои руки, сжатые до боли, увидит, как я побледнела, и хотя бы на миг станет тем мужчиной, который когда-то сам привёл меня в

этот дом.

Тогда он держал мою ладонь так крепко, будто весь мир мог попытаться меня отнять.

Теперь этот же мужчина отнимал у меня всё сам.

— Рейнар, — сказала я тихо.

Кажется, слишком тихо. Слишком по-женски. Слишком по-человечески для зала, где решали не человеческими словами, а законами стаи.

Он даже не сразу посмотрел мне в глаза. Его взгляд скользнул по моему лицу, задержался на губах, словно ему было неприятно, что я всё ещё могу говорить, и ушёл к старейшинам.

За длинным столом Совета сидели пятеро. Все в тёмных мехах, с серебряными знаками на груди. Когда-то они вставали при моём появлении. Когда-то называли меня хозяйкой дома. Когда-то присылали ко мне своих дочерей за советом, если тем нужно было впервые принять гостей, испечь обрядовый хлеб или подобрать слова для примирения между семьями.

Сегодня они смотрели на меня как на вещь, которую убирают с прохода.

— Решение альфы поддержано, — произнёс старейшина Борн, положив ладонь на деревянную дощечку с печатью стаи. — Брак признаётся утратившим силу по волчьему праву. Алиса теряет место в доме альфы, право распоряжаться запасами, работниками и внутренним кругом.

Я услышала лёгкий шорох справа.

Лиана.

Она стояла у колонны, в светлом платье, слишком нарядном для Совета, слишком мягком для зимнего дня и слишком победном для женщины, которая пришла посмотреть, как другую выталкивают из её жизни.

Новая избранница альфы не улыбалась открыто. Нет. Она была умнее. Её лицо оставалось спокойным, даже сочувственным, только пальцы медленно гладили меховую опушку рукава. Движение было почти ласковым, ленивым, будто она уже примеряла этот зал, этот дом, это место у очага, где раньше стояла я.

Я вдруг вспомнила, как вчера вечером сама проверяла свечи в гостевых комнатах. Как велела принести больше мёда для горячих лепёшек, потому что Совет собирался после дороги, а старики не любили пустой стол. Как поправляла скатерть на длинном столе, думая, что речь пойдёт о зимних запасах и жалобах с дальних пастбищ.

Я готовила дом к Совету, который должен был меня изгнать.

От этой мысли стало так стыдно, будто виновата была я.
— За что? — спросила я.

Никто не ответил сразу.

Именно эта пауза оказалась хуже любого обвинения. Если бы мне бросили в лицо измену, ложь, предательство, слабость, бесплодность, что угодно из тех слов, которыми стая

привыкла резать женщин, я бы хотя бы знала, откуда идёт удар. Но молчание было вязким и тёмным. В нём не было причины. Только решение.

Рейнар наконец посмотрел на меня.

Серые глаза, которые я любила, были холоднее снега за окнами.

— Так нужно для стаи.

Я даже не сразу поняла, что это и есть весь ответ.

— Для стаи? — повторила я.

Голос сорвался, но я удержала себя. Не подняла руки к груди, не шагнула к нему, не стала хвататься за край стола, хотя очень хотелось. Я слишком хорошо знала эти стены. Они помнили каждую мою улыбку, каждое утро, когда я вставала раньше служанок, чтобы проверить, не замёрзли ли дети младших семей в северном крыле. Они помнили, как я встречала женщин после долгих переездов, как мирила братьев, как училась понимать волчьи законы, хотя сама родилась не в этой стае.

А теперь эти стены молчали.

— Я три года была твоей женой, — сказала я. — Три года держала этот дом, пока ты уходил на границы, на сборы, на переговоры. Я знала, кто в какой комнате спит, у кого болеет старуха-мать, кому нужен тёплый угол, кто поссорился с соседом, у кого ребёнок боится ночных звуков в лесу. И теперь ты говоришь мне только это?

Рейнар напрягся. Я увидела, как на его скуле дрогнула

мышца.

Значит, всё-таки услышал.

— Не усложняй, Алиса.

Эти слова были как пощёчина.

Не усложняй.

Не плачь.

Не спрашивай.

Не напоминай мне, что у тебя есть сердце.

Я медленно вдохнула. Воздух пах дымом, мокрой шерстью, холодом с улицы и чужими духами Лианы — лёгкими, сладкими, неуместными среди старого камня и волчьих знаков.

— А как мне проще? — спросила я. — Подойти к дверям и поблагодарить за то, что меня выгнали не ночью?

Среди старших кто-то опустил глаза. Кто-то недовольно кашлянул. Борн сжал губы, будто я нарушала приличия, хотя приличия уже лежали на полу между мной и Рейнаром, растоптанные его сапогами.

Лиана сделала шаг вперёд.

— Алиса, никто не хочет тебя унижить.

Вот тут я посмотрела на неё.

По-настоящему.

Она была красива. Это я знала и раньше, но раньше красота Лианы не касалась меня так близко. Светлые волосы, тонкая шея, уверенная осанка женщины, которую с детства учили входить в любой зал так, будто он уже принадлежит

ей. На её плечах лежала белая шаль с серебряной вышивкой, и узор на ней был похож на волчьи следы.

Мои следы из этого дома уже заметало снегом.

— Не надо, — сказала я.

Лиана вскинула брови.

— Я только хотела...

— Не надо говорить так, будто ты случайно оказалась здесь.

В зале опять стало тихо. Но теперь тишина была другой. Живой. Осторожной. Люди ждали, сорвусь ли я, закричу ли, дам ли им право потом шептать, что альфа поступил правильно, потому что отвергнутая жена показала своё истинное лицо.

Лиана чуть побледнела, но быстро взяла себя в руки. Она даже сумела улыбнуться уголками губ.

— Мне жаль, что ты воспринимаешь всё так болезненно.

Странное дело: иногда женщину добивают не крик и не ненависть, а вот такое мягкое, чистое, правильное сочувствие. Им будто накрывают сверху, чтобы ты задохнулась тихо и прилично.

Я перевела взгляд на Рейнара.

— Это из-за неё?

Он шагнул ко мне так резко, что серебряная цепь на его груди звякнула.

— Достаточно.

И всё-таки ответил.

Не словами.

Тем, как встал между нами. Не рядом со мной — перед ней.

Волки понимали такие жесты лучше любых речей. Стая тоже поняла. По залу прошла едва заметная волна: кто-то вдохнул, кто-то отвёл взгляд, кто-то уже мысленно переставлял меня с места хозяйки дома туда, где держали старые вещи до вывоза.

У меня внутри что-то оборвалось.

Не громко. Не красиво. Без того драматического треска, который бывает в романах, где героиня в один миг становится сильной и гордой.

Нет.

Просто стало пусто.

Так пусто, что я вдруг заметила глупые мелочи: у Борна на рукаве торчит нитка; у среднего старейшины неровно застёгнут ворот; на полу возле очага лежит крошка от утреннего хлеба, который я сама велела испечь с тмином, потому что Рейнар любил именно такой.

Любил.

Я ухватилась за это слово и сразу отпустила.

— Что мне оставляют? — спросила я.

Рейнар отвёл взгляд первым.

И от этого стало ещё больнее.

Борн поднял дощечку с печатью и заговорил быстрее, деловитее, будто мы наконец перешли к удобной части, где

женщина больше не задаёт вопросов, а просто получает список потерь.

— По решению альфы и Совета тебе сохраняют личную одежду, украшения, полученные до брака, и право проживания в старом доме у южной дороги.

Я знала этот дом.

Все знали.

Даже не дом — бывшая пекарня на краю поселения. Низкая, просевшая, с заколоченной задней дверью и крышей, которую каждый год обещали починить, но каждый год находились дела важнее. Там когда-то пекли хлеб для дорожных отрядов, потом хозяйка умерла, её сын ушёл из стаи, а печь осталась холодной. Дети бегали мимо неё быстро, потому что по вечерам в пустых окнах темнело так, будто дом смотрел наружу.

— Пекарня? — переспросила я.

Лиана снова опустила глаза. На этот раз, чтобы спрятать улыбку.

— Она давно не работает, — сказал Борн. — Но стены крепкие. При желании ты сможешь привести её в порядок.

При желании.

Меня только что лишили дома, имени, места и защиты, но зато оставили желание.

— Щедро, — произнесла я.

Борн нахмурился.

— Алиса, стая не бросает тебя на дорогу.

Рейнар молчал.

Лучше бы он сказал что-нибудь жестокое. Лучше бы подтвердил, что ненавидит, что устал, что жалеет о нашем браке. Тогда я могла бы разозлиться. Но его молчание было тяжелее ненависти, потому что в нём оставалась тень того мужчины, который когда-то гладил меня по волосам у этого же очага и обещал: “Пока я жив, ты не останешься одна”.

А я стояла одна посреди полного зала.

— Когда я должна уйти? — спросила я.

— Сегодня, — ответил Борн.

Вот и всё.

Сегодня.

Не после ужина. Не утром. Не когда соберу вещи без чужих взглядов. Сегодня, чтобы к ночи волчий дом уже дышал без меня.

Я кивнула.

Сама не знаю кому. Может, Совету. Может, себе, чтобы не упасть.

— Хорошо.

Рейнар поднял голову.

Кажется, он ожидал слёз. Просьб. Спора. Того, что я буду цепляться за его руку, напоминать о ночах, о клятвах, о весеннем дне, когда он впервые назвал меня своей.

Но во мне вдруг не осталось слов для него.

Совсем.

Я повернулась к выходу и пошла через зал. Люди рас-

ступались. Не все смотрели мне в лицо. Кто-то жалел, кто-то осуждал, кто-то уже боялся оказаться слишком близко к женщине, которую больше не защищал альфа.

Возле дверей меня догнала Лиана.

Не шагами — голосом.

— Алиса.

Я остановилась, хотя не хотела. Горло сжалось, пальцы подрагивали, и я боялась, что если повернусь слишком резко, то всё-таки скажу то, о чём потом будут шептаться годами.

Лиана подошла ближе. От неё пахло зимними цветами и дорогой тканью.

— Я правда не желала тебе зла, — сказала она мягко. — Просто иногда нужно принять, что твоё место было временным.

Я медленно обернулась.

Рейнар стоял у очага, далеко. Но я знала, что он слышит. Волки всегда слышали больше, чем люди.

— Тогда береги его, — сказала я. — Временное место.

Лиана моргнула.

Я не стала ждать ответа.

В коридоре было холоднее, чем в зале. Или мне так показалось. Каменные стены тянули из меня остатки тепла, пока я поднималась в комнаты, которые ещё утром считала своими. В спальне всё лежало на местах: вышитая шаль на спинке кресла, гребень у зеркала, книга с записями расходов, корзина с нитками у окна. На столике стояла чашка, из которой

я не допила чай.

Жизнь не знала, что её уже отменили.

Служанка Неста ждала у двери и плакала так тихо, что у меня сердце болезненно сжалось.

— Госпожа...

— Не надо, — попросила я. — Только помоги собрать вещи.

Она кивнула, прижала ладонь ко рту и быстро отвернулась к шкафу.

Мы укладывали всё почти молча. Платья, бельё, старые письма от тётки, маленькую деревянную шкатулку, где лежали мои добрачные украшения. Я оставила серебряный гребень с волчьей головой. Его подарил Рейнар после первой зимы, и по закону он, наверное, мог остаться у меня. Но я не захотела брать ничего, что теперь жгло бы руки.

Когда Неста потянулась к синему платью, в котором я встречала Рейнара после последнего похода, я покачала головой.

— Оставь.

— Но госпожа...

— Неста, оставь.

Она замерла, потом осторожно повесила платье обратно. Ткань качнулась, будто кто-то невидимый вздохнул.

Внизу хлопали двери. По дому уже двигались люди Лианы. Я слышала чужие шаги в коридоре, чужие голоса, тихий смех, который быстро оборвали. Кто-то снимал мои зим-

ние венки с лестницы. Кто-то распоряжался на кухне. Дом не ждал, пока я уйду. Он уже учился жить без меня.

Я взяла со стола книгу расходов, открыла на последней странице и увидела аккуратные строки: мука, мёд, свечи, полотно для детских рубах, починка ставней в северной комнате.

Детские рубахи.

Я закрыла книгу и положила её обратно.

— Эту тоже не надо.

Неста смотрела на меня красными глазами.

— Что же вы там будете делать? В старой пекарне? Там печь лет десять не топили. Крыша течёт, окна выбиты с задней стороны, да и место нехорошее, говорят...

— Значит, начну с окон, — сказала я.

Слова прозвучали спокойнее, чем я себя чувствовала.

Неста всхлипнула.

Я подошла к ней и обняла. Она была младше меня, тонкая, испуганная, пахла мылом и свежим полотном. Когда-то её взяли в дом после смерти матери, и я сама учила её держать поднос так, чтобы руки не дрожали перед старшими. Теперь она дрожала из-за меня.

— Ты останешься здесь, — сказала я. — Тебе нужна работа.

— Я могу пойти с вами.

— Не можешь.

— Но...

— Неста, я не знаю, что будет завтра. А тебе нужно есть, спать в тепле и не злить новую хозяйку.

Слово “хозяйка” далось тяжело. Оно царапнуло изнутри, но я всё равно сказала его ровно.

Неста заплакала сильнее.

Я отпустила её, потому что ещё немного — и сама не выдержала бы.

Из дома я вышла перед сумерками. Не через главный вход. Через боковую дверь у кладовых, где всегда пахло яблоками, сухими травами и мукой. Мой узел с вещами оказался смешно маленьким. Три года жизни поместились в дорожную сумку и старый плащ.

Во дворе снег скрипел под ногами. Несколько волков из стражи стояли у ворот и делали вид, что смотрят не на меня, а на дорогу. Я не винила их. В стае быстро учились: если альфа отвернулся от кого-то, остальные должны были отвернуться ещё быстрее, чтобы не оказаться рядом.

У конюшни меня ждали не сани, а старая повозка.

Конь был смирный, с белым пятном на лбу. Возница, пожилой молчаливый Гарт, помог поставить сумку и неловко потёр шею.

— Дорога там занесена, госпожа... то есть... Алиса.

Он смутился, будто моё имя стало теперь опасным.

— Ничего, — сказала я. — Доедем.

Он хотел что-то добавить, но только кивнул.

Когда повозка тронулась, я не оглянулась сразу. Я честно

пыталась. Смотрела на ворота, на следы копыт, на тёмные ели вдоль дороги, на собственные руки, лежавшие на коленях. Но у самого поворота всё-таки не выдержала.

Волчий дом стоял на холме, большой, светлый, живой. В окнах уже горели огни. Там готовили ужин. Там снимали с крюков мои связки сушёных яблок. Там Лиана, наверное, входила в зал Совета и принимала поздравления от тех, кто ещё утром кланялся мне.

А у высокого окна второго этажа стоял Рейнар.

Я увидела только силуэт. Широкие плечи, тёмная рубашка, ладонь на раме.

Он не вышел.

Не остановил.

Не позвал.

Я отвернулась первой.

Старая пекарня встретила меня темнотой и провалившейся ступенью у крыльца.

Гарт помог снять сумку, оставил у двери связку дров и долго мял шапку в руках.

— Может, я хотя бы печь посмотрю?

Я хотела согласиться. Очень хотела. Внутри было холодно так, что зубы сводило, а впереди ждала ночь в доме, где давно никто не жил. Но вместе с холодом во мне поднималось упрямство. Не гордость даже — остаток человеческого достоинства, который я боялась потерять, если сейчас позволю кому-то увидеть, как мне страшно.

— Спасибо, Гарт. Я справлюсь.

Он посмотрел на заколоченное окно, на перекошенную дверь, на меня.

— Как скажете.

Повозка уехала не сразу. Я слышала, как конь переступает копытами, как Гарт кашляет, как скрипит кожа упряжи. Потом всё стихло, и я осталась одна.

Ключ подошёл со второго раза. Замок заело, пальцы замёрзли, но в конце концов дверь подалась с протяжным стоном, будто дом был недоволен, что его разбудили.

Внутри пахло пылью, старым деревом и холодной золой.

Я переступила порог и остановилась.

Пекарня оказалась больше, чем казалась снаружи. В передней комнате стояли длинные пустые прилавки, местами растрескавшиеся, но крепкие. Над ними висели тёмные полки. У окна — перевёрнутый стул. На полу — следы мышей и рассыпанные щепки. Дальше виднелась большая печь, сложенная из светлого камня. Она занимала почти всю дальнюю стену, широкая, тяжёлая, с глубоким чёрным зевом и странными узорами по краю.

Я подошла ближе и провела рукой по камню.

Пыль легла на пальцы серой полосой.

— Ну здравствуй, — сказала я пустой печи.

Голос прозвучал глупо и одиноко. Я усмехнулась, но смех вышел хриплым.

Слёзы пришли неожиданно.

Не в зале Совета. Не при Лиане. Не когда я собирала вещи. Не когда видела Рейнара в окне.

А здесь, перед холодной печью, в заброшенной пекарне, где никто не требовал от меня держать лицо.

Я опустила на край старой лавки, закрыла рот ладонью и наконец заплакала. Тихо, почти беззвучно, потому что за годы в волчьем доме привыкла не шуметь своей болью. Плакала о доме, который потеряла. О мужчине, который не защитил. О себе прежней — той, что верила словам, кольцам, клятвам и тёплым ладоням.

Потом слёзы закончились.

Не потому, что стало легче.

Просто в холодном доме нельзя было долго сидеть без дела.

Я сняла плащ, закатала рукава и пошла искать метлу.

Метла нашлась в кладовой, вместе с пустыми мешками, сломанным совком и глиняной банкой, в которой давно ничего не было. Я открыла ставни, впустила серый вечерний свет и начала мести. Пыль поднималась облаками, першило в горле, волосы липли к вискам, но чем больше грязи уходило в угол, тем ровнее становилось дыхание.

Если меня оставили в пекарне, значит, я разожгу печь.

Если дали развалюху, значит, я найду, где она держится.

Если решили, что я исчезну, значит, они плохо знали женщин, которым больше нечего терять.

К ночи я расчистила переднюю комнату, нашла целую

кружку, вымыла её снегом, принесённым с крыльца, и сложила дрова у очага. Печь долго не хотела принимать огонь. Дым шёл обратно, щипал глаза, поленья чернели, но не разгорались. Я кашляла, ругалась шёпотом, снова подкладывала щепки и дула на слабый рыжий язычок, пока он наконец не ухватился за сухую кору.

Первое тепло было таким робким, что я едва его почувствовала.

Но оно было.

Я сидела на полу перед печью, обхватив колени, и смотрела, как огонь оживает. На краю каменной кладки что-то слабо блеснуло. Я подумала, что это игра пламени, но узор проступил снова — тонкая серебристая линия, почти незаметная под копотью. Потом ещё одна. Они тянулись вокруг зева печи, переплетались в круги, листья, маленькие волчьи лапы и колосья.

Я нахмурилась и провела пальцем по одному завитку.

Камень под рукой был тёплым.

Слишком тёплым для печи, которую я растопила только что.

— Что же ты такое? — прошептала я.

Ответом стал стук.

Я вздрогнула так сильно, что едва не ударилась плечом о лавку.

Сначала решила, что это ветка царапнула стену. Ветер к ночи усилился, снег шуршал по крыльцу, старая крыша по-

скрипывала. Но стук повторился.

Тихий.

Неровный.

Не в окно.

В дверь.

Я поднялась не сразу. В старом доме на краю поселения женщина быстро вспоминает, что у неё нет ни стражи, ни мужа, ни права позвать кого-то из волчьего дома. Только метла, кочерга и огонь, который ещё не успел разгореться как следует.

Стук повторился в третий раз.

Теперь я слышала не только его.

Снаружи кто-то всхлипнул.

Я взяла кочергу и медленно подошла к двери.

— Кто там?

Молчание.

Потом — слабый шорох, будто кто-то сполз по косяку вниз.

Я сняла засов.

Холод ворвался в пекарню сразу, остро, со снегом и тёмным запахом зимней ночи. На крыльце никого не было. Я уже решила, что мне показалось, но потом опустила взгляд.

У порога сидел мальчик.

Маленький, лет пяти или шести, в рваной куртке, слишком большой для его худых плеч. Тёмные волосы слиплись от снега, губы посинели, босые ступни были замотаны тряп-

ками. Он прижимал к груди кусок старой мешковины, будто это была единственная вещь, которую у него могли отнять.

Я замерла.

Мальчик поднял на меня глаза.

Волчьи.

Жёлтые, испуганные, голодные до боли. Не злые. Не дикие. Просто такие одинокие, что у меня внутри всё сжалось.

— Пожалуйста, — прошептал он. — Не отдавайте меня им.

Я присела перед ним, забыв про холод, про кочергу, про собственную разбитую жизнь.

— Кому?

Он не ответил. Только сильнее вжал голову в плечи.

И тогда мешковина соскользнула с его груди, открывая ворот куртки.

На тонкой шее, чуть ниже ключицы, темнела метка.

Я знала этот знак. Все в стае знали.

Кривой волчий след, перечёркнутый линией.

Метка изгнанного.

Таких не пускали к общему очагу. Им не давали места за столом. Их имена старались не произносить при детях, будто одиночество могло быть заразным.

Мальчик смотрел на меня снизу вверх и дрожал.

Я увидела перед собой не просто ребёнка.

Я увидела то, чем сама стала сегодня.

Того, кого больше не ждут дома.

Снег падал ему на волосы, за моей спиной трещал слабый огонь, а где-то далеко, на холме, в волчьем доме наверняка уже закрывали двери на ночь.

Я протянула руку.

Мальчик отшатнулся, но не убежал. Сил у него уже не было.

— Как тебя зовут? — спросила я.

Он облизнул потрескавшиеся губы.

— Мир.

Имя прозвучало почти неслышно.

Я осторожно сняла с плеч свой тёплый платок и набросила ему на спину.

— Слушай меня, Мир. Я не знаю, кто тебя выгнал и почему ты пришёл сюда. Я даже не знаю, смогу ли завтра защитить саму себя.

Он опустил глаза, будто уже привык, что после таких слов дверь закрывают.

Я сглотнула.

— Но сегодня ты войдёшь.

Мальчик поднял голову.

В его взгляде было столько недоверчивой надежды, что мне стало больно дышать.

Я распахнула дверь шире.

— Заходи. У нас есть огонь.

Он медленно, будто боялся спугнуть мои слова, переступил порог.

И в тот самый миг печь за моей спиной вспыхнула ярче. Не сильно, не грозно, без шума и чудес, от которых люди падают на колени. Просто пламя вдруг поднялось выше, теплее, увереннее, а серебряные узоры вокруг каменного зева проступили сквозь копоть так ясно, словно ждали именно этого ребёнка.

Мир вздрогнул и схватился за мой рукав.

— Она меня не прогонит? — шепнул он.

Я посмотрела на печь, на старые стены, на тёмные окна и на маленькие пальцы, вцепившиеся в мою одежду.

Ещё утром я была женой альфы.

К вечеру стала изгнанницей в забытой пекарне.

А ночью у моего порога появился волчонок с меткой, которую в стае боялись больше холода.

Я закрыла дверь перед снегом и впервые за весь день почувствовала, что, возможно, меня привели сюда не только для того, чтобы сломать.

— Нет, — сказала я и осторожно положила ладонь на его мокрые волосы. — Теперь это наш очаг.

Глава 2. Пекарня, где пахнет домом

Мир уснул не сразу.

Он сидел у печи, завернувшись в мой платок так плотно, будто боялся, что тепло может передумать и уйти. Маленькие пальцы держали край ткани у самого подбородка, глаза то закрывались, то снова распахивались, стоило старым доскам скрипнуть от ветра или огню громче треснуть в каменном зеве. Я не торопила его. В этом доме мы оба были новыми — я после чужого приговора, он после дороги, которую ребёнок не должен был проходить один.

Я нашла в сумке сухой ломоть хлеба, тот самый, что Неста сунула мне между платьями, когда думала, что я не вижу. Ещё утром я бы, наверное, улыбнулась этой заботе, а сейчас просто долго держала кусок в ладони и чувствовала, как внутри поднимается странная, болезненная благодарность. В волчьем доме меня вычеркнули быстро, но не все люди успели стать чужими.

— Ешь, — сказала я и протянула хлеб Миру.

Он посмотрел сначала на хлеб, потом на меня. Так смотрят дети, которые давно привыкли, что за каждый кусок потом нужно платить — послушанием, молчанием, покорностью или обещанием уйти, как только рассветёт.

— Можно? — спросил он.

От этого короткого вопроса у меня заныло под рёбрами.

— Можно, — ответила я мягко. — Он теперь твой.

Мир взял хлеб обеими руками, но не стал набрасываться. Отломил крошечный кусочек, положил в рот и замер, будто проверял, не исчезнет ли еда. Потом отломил ещё. Пламя отражалось в его жёлтых глазах, делало их почти янтарными, и только метка на шее оставалась тёмной, чужой, будто её нарисовали не на коже, а прямо на судьбе.

Я отвернулась первой, чтобы не смутить его жалостью.

В кладовой нашёлся старый мешок с остатками муки. Я не знала, можно ли её использовать, но для первого теста, которое должно было скорее согреть руки, чем накормить весь дом, другой у меня не было. Муку я просеяла через кусок чистой ткани из своей сумки, высыпала в глиняную миску, добавила талый снег, щепоть соли из дорожного мешочка и стала месить. Пальцы сначала слушались плохо — за день они замёрзли, устали, дрожали после пережитого сильнее, чем я хотела признавать. Но тесто постепенно брало меня в работу. Оно липло к ладоням, тянулось, собиралось в тяжёлый тёплый ком, и вместе с этим простым движением во мне понемногу утихал тот страшный звон, который остался после зала Совета.

Мир наблюдал за мной из-под платка.

— Ты умеешь печь?

— Немного, — сказала я.

Это было неправдой. Я умела хорошо. В волчьем доме я пекла не каждый день, но знала, какое тесто любит сильный

жар, какое нужно долго вымешивать, а какое капризничает от сквозняка. Я знала, как пахнет готовая корка, как проверить хлеб костяшками пальцев, как оставить на поверхности надрез, чтобы он раскрылся красиво, а не лопнул где придётся. Но сейчас мне не хотелось говорить о том доме и о себе прежней, которая распоряжалась большими кухнями, полными медных чаш, полотняных мешков, смеха служанок и горячих противней.

Здесь была одна миска, холодные стены, мальчик с меткой изгнанного и печь, которая почему-то грела сильнее, чем должна была.

— Моя мама пекла лепёшки, — тихо сказал Мир.

Я не стала сразу спрашивать, где его мама. В его голосе было такое осторожное “была”, что вопрос мог оказаться грубым, как удар дверью.

— Значит, ты знаешь, каким должен быть хороший запах в доме.

Он кивнул, но взгляд опустил.

Я сформовала небольшие круглые лепёшки и выложила их на найденный внизу печи плоский камень. Камень был старый, гладкий, почти белый, с теми же тонкими серебристыми линиями по краю. Когда я провела по нему ладонью, узоры едва заметно потеплели.

Я остановилась.

— Ты это видишь? — спросила я.

Мир вытянул шею, но сразу отпрянул, будто боялся под-

ходить к печи ближе.

— Она светится.

— Печь?

— Не вся. Только там, где ты трогаешь.

Я медленно убрала руку.

Линии потускнели.

Снова положила пальцы на край камня — серебро проявилось мягко, как лунная нитка под пеплом.

Волшебство в стае я видела не раз. У волков оно было иным: в крови, в запахе леса, в силе прыжка, в ночном зове, в способности слышать чужой страх за толстыми стенами. У старейшин — в печатях и клятвах, у Рейнара — в самой власти альфы, от которой иногда дрожал воздух. Но это тепло было другим. Домашним. Не приказывающим, не пугающим, не требующим склонить голову.

Оно просто отзывалось.

На меня.

Я сглотнула и поставила лепёшки в печь.

— Может, она просто давно ждала, когда её снова растопят.

Мир молчал, но по его взгляду я поняла: он мне не поверил.

Через некоторое время по пекарне разошёлся первый запах. Не богатый, не праздничный, без мёда, масла и пряностей, к которым привык волчий дом. Обычная тёплая лепёшка из бедного теста. Но для холодной ночи она пахла почти

чудом. Мука, огонь, соль, дымок от старой печи — и вдруг в заброшенной пекарне стало не так пусто.

Мир уснул после второй лепёшки.

Не на лавке, куда я постелила ему свой плащ, а прямо сидя, уткнувшись щекой в сложенные руки. Я осторожно перенесла его на лавку, накрыла сверху оставшейся шалью и долго смотрела, как он спит. Лицо у него было худенькое, упрямое даже во сне. Тёмные ресницы дрожали, будто сны тоже не давали покоя. Метку на шее я прикрыла краем платка.

Потом вымыла миску снегом, подложила дров и обошла пекарню ещё раз.

Дом был хуже, чем я успела заметить вечером. В задней комнате зияла щель между досками, через которую тянуло так, что пламя в моей маленькой свечке ложилось почти горизонтально. В углу под лестницей валялись старые формы, часть ржавых, часть ещё крепких. На втором этаже нашлась узкая комнатка с покосившейся кроватью, пустым сундуком и окном, заклеенным пожелтевшей бумагой. Крыша где-то пропускала снег, и на полу стояла замёрзшая лужица.

Я должна была испугаться.

Наверное, испугалась.

Но страх к тому часу стал привычным, как холод в пальцах. Он уже не толкал меня к двери. Только ходил рядом и ворчал, что я не знаю, как прожить завтрашний день.

— Завтра начну с окон, — прошептала я, вспомнив собственные слова Несте.

И неожиданно для себя добавила:

— И с теста.

Печь за стеной отозвалась тихим треском.

Утром меня разбудило не солнце, а запах дыма и осторожное шуршание.

Я открыла глаза не сразу. Несколько мгновений лежала на полу возле печи, завернувшись в дорожный плащ, и пыталась понять, почему спина ноет, под щекой жёсткая доска, а вместо привычного шума волчьего дома слышно, как где-то под крышей скребётся снег. Потом память вернулась вся сразу: Совет, Рейнар, Лиана, старая пекарня, Мир у порога.

Я резко села.

Мальчика на лавке не было.

Сердце ударило больно и высоко, почти в горло. Я вско-
чила, едва не запутавшись в плаще, и только тогда увидела его у двери кладовой. Мир стоял босыми ногами на старом половике, держал в руках обломанную метлу и с сосредоточенным видом пытался мести пыль к порогу.

Платок сполз с его плеч, волосы торчали во все стороны, но лицо было серьёзным, как у маленького старшего по дому.

— Я не убежал, — сказал он раньше, чем я успела открыть рот.

Я замерла.

— Я не это хотела спросить.

— Все спрашивают.

Он опять опустил глаза и стал мести быстрее, будто пыль

была виновата в его словах.

Я медленно выдохнула, подошла к нему и присела рядом. На полу тут же стало холодно коленям, но я не поднялась.

— Мир, если ты захочешь выйти во двор, скажи мне. Не потому, что я тебя запрю. Просто здесь старые ступени, задняя дверь плохо держится, а я пока не знаю, кто может прийти.

Он перестал мести.

— Ты меня не запрёшь?

— Нет.

— Даже если они скажут?

Я не спросила, кто “они”. Вчерашняя метка на его шее отвечала за всех.

— Даже если они скажут.

Он посмотрел на меня внимательно, недоверчиво, и вдруг протянул метлу.

— Тогда я буду мести.

Я взяла метлу, но не отняла.

— Будешь. Только сначала обуем тебя во что-нибудь.

Из всего моего имущества для ребёнка годились только шерстяные чулки, слишком большие даже для меня после стирки, и старые мягкие башмаки, которые я брала для дороги. На Мире они держались плохо, сползали с пяток, но он смотрел на них так, будто я вручила ему праздничные сапоги.

— Они мои?

— Пока да.

— А потом?

Я завязала шнурок потуже и не сразу ответила. В волчьем доме у каждой вещи был хозяин, у каждой комнаты — назначение, у каждого человека — место. Здесь всё было временным: моё право на пекарню, тепло в печи, этот мальчик у двери, даже утро, которое могло принести кого угодно.

Но ребёнку нельзя было отвечать временно.

— А потом посмотрим, как тебе удобнее, — сказала я.

Мир принял это как обещание. Слишком легко, слишком быстро. Мне стало страшно от его доверия, но я не отодвинулась.

Мы работали до полудня. Вернее, я работала, а Мир старался помогать так усердно, что больше мешал, чем помогал, и всё равно я не могла его остановить. Он таскал маленькие щепки к печи, складывал найденные формы по размеру, сдувал пыль с полок и каждый раз замирал, когда за окном проходили люди.

А люди проходили всё чаще.

Сначала мальчишки из соседних домов. Они делали вид, что бегут по своим делам, но у крыльца замедлялись и заглядывали в мутное окно. Потом две женщины с корзинами прошли мимо три раза, хотя дорога к рынку была в другой стороне. Ближе к полудню у забора остановился старик в овчинном тулупе, долго смотрел на дым из трубы и перекрестил пальцы по-волчьи — не как от беды, а как от нежизни.

данности.

Пекарня проснулась, и стоя это заметила.

Я заметила тоже.

После уборки передняя комната всё ещё выглядела бедно, но уже не мёртво. Полки я протёрла, прилавок выскоблила ножом до светлого дерева, разбитое окно затянула куском плотной ткани. Печь горела ровно. Серебряные узоры больше не исчезали полностью: они тлели под копотью тонкими линиями, особенно когда я проходила мимо или касалась камня.

К полудню я решилась на настоящее тесто.

В кладовой, кроме сомнительной муки, нашлись два закрытых мешка получше — видимо, кто-то когда-то убрал их в сухой дальний угол и забыл. Мука была не белая, с сероватым оттенком, но пахла спокойно, зерном и летом. Я просеяла её, добавила воды, соли, немного закваски, которую обнаружила в глиняном горшочке у печи и сначала приняла за испорченную массу. Но стоило открыть крышку, как по пекарне прошёл тёплый кисловатый запах живого теста.

— Она старая? — спросил Мир, заглядывая в горшочек с безопасного расстояния.

— Очень, — сказала я. — Но живая.

Он нахмурился.

— Её оставили одну?

Я посмотрела на закваску, потом на него.

— Похоже на то.

— И она не умерла?

— Нет. Дождалась.

Мир подумал над этим и осторожно улыбнулся.

Я смешала тесто в большой деревянной кадке. Сначала оно было тяжёлым, липким, упрямым. Я месила его обеими руками, вкладывая в движение всё, что не сказала вчера Рейнару. Обиду, которую не хотела показывать. Страх, который не имела права перекладывать на ребёнка. Злость на Лиану, на Совет, на себя за то, что до последнего ждала милости там, где уже вынесли решение.

Мир сидел на перевёрнутом ящике и наблюдал за мной так серьёзно, будто от этого теста зависела судьба дома.

— Оно должно быть такое?

— Какое?

— Сердитое.

Я неожиданно рассмеялась. Смех вышел негромкий, усталый, но настоящий.

— Наверное, потому что я сердитая.

Мир тоже улыбнулся, хотя тут же спрятал улыбку в ворот слишком большого свитера, который я достала из своей сумки.

И в этот момент тесто под моими руками изменилось.

Не сразу. Не чудом, от которого нужно вскрикнуть. Просто тяжёлая масса вдруг стала мягче, теплее, послушнее. Я провела ладонью по поверхности, и она поднялась, будто вздохнула. От кадки к моим пальцам прошла слабая дрожь,

а серебряные линии на печи вспыхнули ярче.

Я отдёрнула руки.

Тесто осталось пышным.

— Ты видела? — прошептал Мир.

— Видела.

— Это ты?

— Не знаю.

Это была честная правда. Я ничего не знала. Ни почему печь откликалась на меня, ни почему узоры теплились при моём прикосновении, ни почему старая закваска оказалась живой, хотя дом стоял пустым столько лет. Вчера у меня забрали место хозяйки. Сегодня какая-то забытая пекарня вела себя так, будто признала меня раньше, чем я сама осмелилась встать прямо.

Я накрыла кадку тканью.

— Давай не будем пока никому говорить.

Мир кивнул слишком быстро.

— Я умею молчать.

В его голосе не было детской гордости. Только привычка. Я отвернулась к печи, чтобы он не увидел моего лица.

К вечеру у нас было шесть небольших хлебов.

Неровных, с разными боками, один пригорел сбоку, у другого верхушка треснула почти пополам. Но когда я вынула их из печи, запах заполнил всё пространство — переднюю комнату, кладовую, лестницу на второй этаж, даже крыльцо, потому что Мир тут же распахнул дверь и высунулся наружу,

как маленький голодный зверёк, который впервые не прятал радость.

— Пахнет, — сказал он.

— Хлеб обычно пахнет.

— Нет. Не так.

Я подошла к двери и тоже вдохнула. Холодный воздух с улицы смешивался с теплом печи, и в этом запахе правда было что-то большее, чем мука и огонь. Будто дом вспомнил, зачем его строили. Будто стены, ещё вчера серые и чужие, начали понемногу оттаивать.

Волки на улице тоже почуяли.

У калитки стояла женщина в тёмном платке. Я знала её — Мара, вдова из нижних домов. Когда-то она приносила в волчий дом шерсть на продажу, всегда кланялась быстро и уходила, не задерживаясь среди старших семей. Сейчас она держала за руку девочку лет семи. Девочка пряталась за материнскую юбку, но носом тянулась к пекарне.

Мара смутилась, когда я вышла на крыльцо.

— Простите. Я не хотела мешать.

Слово “простите” прозвучало странно. Ещё вчера она бы назвала меня госпожой. Сегодня не знала, как обращаться.

— Вы не мешаете.

Мара посмотрела на дым из трубы, на открытую дверь, на Мира у меня за спиной. На метку она тоже посмотрела. Быстро, испуганно, но без злобы.

— Мы просто шли мимо.

Девочка за её юбкой шепнула:

— Мам, хлеб.

Мара покраснела.

Я вдруг поняла, что держу в руках первый хлеб, который испекла в этой пекарне. Не для волчьего дома, не для Совета, не для Рейнара. Для себя. Для Мира. Для этого старого очага, который решил ожить в самый неподходящий момент.

И всё же я разломила хлеб пополам.

Корка хрустнула. Изнутри поднялся пар.

Девочка открыла глаза шире.

— Возьмите, — сказала я.

Мара отступила.

— Я не могу. У вас самой...

— Могу. Он большой.

Это была неправда. Хлеб был маленький, а запасов у меня почти не было. Но девочка смотрела так, как вчера Мир смотрел на сухой ломоть, и я не смогла вернуть кусок на стол.

Мара приняла хлеб обеими руками.

— Спасибо, Алиса.

Без “госпожи”. Без прежнего поклона. Просто по имени.

Мне неожиданно стало легче.

Они ушли, а уже через час к пекарне подошёл мальчишка с корзиной яиц. Он не входил, только оставил корзину на нижней ступеньке и убежал, крикнув через плечо, что бабка велела передать “за хлеб, который пахнет как раньше”. Следом пришёл Гарт с охапкой досок и гвоздями. Он делал вид,

что случайно нашёл их в сарае, но я видела, как он старательно не смотрит на проваленную ступень.

— Дорогу чистил, — сказал он, ставя доски у стены. — Заодно подумал, вам тут пригодится.

— Гарт.

— Что?

— Спасибо.

Он насупился, будто благодарность была неудобнее тяжёлой работы.

— Печь, значит, пошла?

— Пошла.

— Странно. Раньше никто с ней справиться не мог.

Я замерла.

— Никто?

Гарт почесал седую щеку.

— Так её пару раз хотели снова открыть. При прежнем старейшине ещё. То дым в дом валит, то огонь гаснет, то тесто камнем становится. Люди сказали, место упрямое. Потом хозяйка старая ушла, сын её не вернулся, и всё. Закрыли.

— А кто была хозяйка?

Гарт сразу стал осторожнее. Это случилось так заметно, что я поняла: имя он помнит.

— Агния. Молчаливая была женщина. Детей любила. Вечно кто-нибудь у неё на кухне грелся.

— Волчат? — спросила я.

Он взглянул на Мира.

Мир сидел на лавке и чистил варёное яйцо, которое я приготовила ему на ужин. При слове “волчата” он напрягся, но головы не поднял.

Гарт понизил голос.

— Разных.

— Что значит разных?

— Таких, кому некуда было идти.

Я ждала продолжения, но он вдруг подхватил доску и деловито постучал по первой ступени.

— До темноты успею хотя бы крыльцо укрепить. А вы внутрь идите, холодно.

Он ушёл от ответа, и я не стала давить. У меня ещё не было права задавать слишком много вопросов. У меня вообще пока мало на что было право, кроме как держать огонь и следить, чтобы ребёнок у моей печи не дрожал от страха.

Но слова Гарта остались.

Таких, кому некуда было идти.

К ночи слухи уже обогнали ветер.

Я поняла это, когда за окном остановились две женщины из верхних семей. Они не знали, что щель в раме пропускает не только холод, но и голоса.

— Говорят, она ребёнка с меткой впустила.

— Одного?

— Пока одного. Но ты же понимаешь, такие всегда тянутся к таким.

— Отвергнутая жена собирает вокруг себя ненужных де-

тей. Хорошо ли это закончится?

— Лиана в волчьем доме недовольна. Сказала, что жалость Алисы может стать угрозой порядку.

— Жалость? Да она просто хочет, чтобы о ней снова говорили.

Я стояла у стола, держа мокрую тряпку, и смотрела на тёмное окно. Руки не дрожали. Странно, но не дрожали. После вчерашнего зала Совета чужие шёпоты уже не могли ранить так глубоко. Они только ложились поверх раны, как холодный снег.

Мир слышал тоже.

Он медленно положил недоеденное яйцо на тарелку.

— Я уйду, — сказал он.

Я обернулась.

— Нет.

— Из-за меня будут говорить.

— Они и без тебя говорили.

— Но теперь хуже.

Он не плакал. Вот что было страшнее всего. Он говорил спокойно, как взрослый, который уже много раз собирал себя и уходил раньше, чем его успевали выгнать.

Я подошла к нему, села рядом на лавку и взяла тарелку.

— Доешь.

— Алиса...

— Мир, если каждый раз уходить, когда кто-то шепчется за окном, можно всю жизнь провести в снегу.

Он посмотрел на меня исподлобья.

— А если они придут?

— Тогда я открою дверь.

— И отдашь меня?

Я поставила тарелку на стол.

— Нет. Тогда я спрошу, на каком праве они требуют ребёнка, который сам пришёл к моему очагу.

Мир молчал долго. Потом взял яйцо и стал есть, маленькими кусочками, будто вместе с едой пробовал поверить и словам.

Позже, когда он уснул на лавке, я поднялась на второй этаж и попыталась привести в порядок комнату. Кровать скрипела, матрас пах пылью, но после долгого дня даже это казалось подарком. Я развесила мокрые тряпки у печи, сложила оставшиеся дрова, проверила засов на двери и только тогда позволила себе сесть.

Снаружи шумел ветер.

Печь горела тихо, ровно. Серебряные узоры на камне уже не прятались. В их переплетении я теперь различала не только колосья и волчьи лапы, но и круг — широкий, незамкнутый, будто оставленный для тех, кто ещё не вошёл.

Я долго смотрела на него, пока глаза не начали слипаться.

Проснулась я от детского плача.

Не Мира.

Звук был тоньше, выше, отчаяннее. Я вскочила с лавки так резко, что плащ соскользнул на пол. Мир тоже проснул-

ся, сел и испуганно схватился за край стола.

Плач шёл снаружи.

С заднего двора.

Я схватила свечу, накинула шаль и открыла дверь в кладовую, откуда вела та самая плохо держащаяся задняя дверь. Засов там был старый, железный, за ночь покрылся инеем. Пока я с ним возилась, плач сменился сердитым шипением.

— Не трогай! Моё!

Потом что-то глухо стукнуло.

Я распахнула дверь.

У задней стены, возле перевёрнутой бочки, стояли двое детей.

Старшая — девочка лет восьми, тонкая, с острым подбородком и спутанными светлыми волосами. Она держала перед собой обломок доски, как оружие, и заслоняла маленького мальчика, совсем крошечного, лет четырёх. Мальчик прижимал к груди мешочек с мукой, на щеке у него была сажка, а глаза светились волчьим золотом сквозь слёзы.

Они оба замерли, увидев меня.

Я тоже замерла.

Потом девочка сильнее сжала доску.

— Мы ничего не украли.

Мешочек с мукой в руках мальчика убедительно просыпался на снег.

Мир выглянул из-за моей спины и тихо выдохнул:

— Тая...

Девочка резко перевела взгляд на него.

— Мир?

В её голосе было столько облегчения, что она едва не уронила доску. Но тут же снова подняла её выше, будто вспомнила, что радоваться опасно.

— Ты живой, — сказала она.

— А ты почему здесь?

— Тима хотел есть.

Маленький мальчик шмыгнул носом и спрятался за её бок, не выпуская мешочек.

Я медленно опустила свечу ниже, чтобы свет не бил детям в глаза. У Таи на шее из-под рваного воротника виднелся тот же знак — кривой волчий след, перечёркнутый линией. У малыша метка была на запястье, и он старательно прижимал руку к груди, будто мог спрятать её вместе с мукой.

Мир шагнул вперёд.

— Она пустила меня.

Тая недоверчиво посмотрела на него, потом на меня.

— Просто так?

— Нет, — сказала я.

Все трое напряглись.

Я открыла дверь шире.

— За это нужно будет вымыть руки, сесть у печи и не махать доской в доме. Особенно если там горячий хлеб.

Тая моргнула.

Маленький Тима перестал плакать.

Мир вдруг улыбнулся так широко, как ещё ни разу за эти два дня.

— Я говорил, — сказал он. — Она не прогоняет.

Девочка всё ещё сомневалась. Она смотрела на меня с такой взрослой настороженностью, что я почти физически почувствовала, как много дверей уже закрывалось перед её лицом.

— А потом? — спросила она. — Когда придут из стаи?

Вот этот вопрос дети задавали одинаково. С разными голосами, разными глазами, но об одном и том же. Не что будет сейчас. Не дадут ли хлеба. Не пустят ли к огню.

А что будет, когда за ними придут те, кто привык решать.

Я не знала ответа.

И всё-таки отступила в сторону.

— Потом будем думать, — сказала я. — А сейчас заходите. На улице холодно.

Тая не сдвинулась.

— Мы не будем должны?

— Будете.

Она вздрогнула.

— За хлеб — помочь убрать заднюю комнату. За тепло — не ссориться у печи. За муку, которую Тима уже почти рассыпал, — вместе испечём лепёшки.

Тима всхлипнул:

— Я не хотел.

— Конечно не хотел. Мука сама решила посмотреть двор.

Мир фыркнул. Тая прикусила губу, и я увидела, как смех борется в ней со страхом. Победил не смех, но доску она всё-таки опустила.

Когда дети вошли, печь вспыхнула так ярко, что свет добежал до самой кладовой.

Тима ойкнул и спрятался за Тая. Мир, уже почти опытный житель пекарни, важно сказал:

— Она так делает, когда рада.

Я посмотрела на серебряные узоры.

Круг вокруг печного зева стал шире. Там, где вчера я видела одну незамкнутую линию, теперь проступили три маленьких следа — не рядом, а внутри, будто камень запомнил тех, кто вошёл к огню.

Мне стало не по себе.

Не страшно. Не совсем.

Скорее так, будто я нащупала край большой тайны и поняла: если потяну, за ним поднимется весь старый, забытый пласт волчьей истории, которую кто-то очень хотел оставить под пылью.

Тая заметила мой взгляд.

— Что?

— Ничего. Просто печь старая.

— Старые вещи всё помнят, — серьёзно сказала она.

Я посмотрела на неё внимательнее.

— Кто тебе это сказал?

Девочка тут же закрылась.

— Никто.

Мир отвёл глаза. Тима прижал муку сильнее.

Я не стала допрашивать. В пекарне, где за два дня появилось трое детей с метками изгнанных, вопросов было уже больше, чем ответов, но дети нуждались не в допросах.

Они нуждались в воде, тепле и еде.

Воды в доме почти не было. Мир вызвался принести снега, Тая сразу пошла с ним, потому что, по её словам, “он всё рассыплет”, а Тима остался сидеть на лавке и следить за хлебом, хотя следил больше за мной. Я видела, как он рассматривает мои руки, лицо, платье, шаль, будто пытается понять, когда я начну кричать.

Я не кричала.

Мы мыли руки в тазу у печи. Тая ругалась, что вода холодная, Мир спорил, что зато чистая, Тима молча терпел, пока я осторожно оттирала сажу с его щеки. Под грязью оказался маленький круглый ребёнок с ямочкой на подбородке и такой серьёзной складкой между бровями, будто он уже отвечал за весь мир.

— Больно? — спросила я, когда случайно задела его запястье с меткой.

Он быстро спрятал руку.

— Нет.

Тая посмотрела на меня вызывающе.

— Она сама появилась. Мы ничего плохого не сделали.

— Я не думала, что сделали.

— Все думают.

Я выжала тряпку, повесила её на край лавки и села напротив девочки.

— Я не все.

Тая выдержала мой взгляд недоверчиво, почти сердито. Потом отвернулась к печи.

— Посмотрим.

Это было честнее благодарности.

К полудню пекарня уже шумела так, будто пустой никогда не была. Тая нашла ведро и с таким ожесточением отмывала прилавки, что я боялась за дерево. Мир складывал дрова, переставляя каждое полено по три раза, пока не получалась ровная стенка. Тима сидел на низкой табуретке и лепил из теста маленькие кривые шарики, каждый из которых называл “волком”, хотя похожи они были скорее на камешки.

Я поймала себя на том, что двигаюсь между ними почти спокойно.

Почти.

Иногда боль возвращалась — резким уколом, когда я вспоминала Рейнара у окна или Лиану в белой шали. Иногда меня накрывала мысль: что я делаю? У меня нет запасов, нет защиты, нет права брать к себе детей с метками, которые стая считает позором. Я сама изгнанная, пусть и с красивой формулировкой Совета. Если завтра Борн прикажет забрать их, чем я отвечу?

Старой печью?

Шестью хлебами?

Собственным упрямством?

И всё же, когда Тима впервые засмеялся над тем, как его тестяной “волк” расплылся в лепёшку, я вдруг поняла: если сейчас отдам их страху обратно, то эта пекарня снова станет пустой. А я вместе с ней.

Ближе к вечеру пришла Мара.

На этот раз не одна. Она принесла корзинку с яблоками, старое детское одеяло и мешочек крупной соли. Долго стояла у порога, не решаясь войти, потому что увидела Таю и Тиму. Тая сразу взяла Тиму за плечо, Мир сделал шаг к печи, будто мог заслонить её собой.

Я вышла к Маре сама.

— Вы что-то хотели?

Она покосилась на детей.

— В нижних домах говорят...

— Знаю.

— Говорят, вы принимаете меченых.

Слово прозвучало не зло, но тяжело. Так называли детей, когда хотели сделать вид, что они не дети, а знак беды.

Я вытерла руки о передник. Передник был старый, найденный в кладовой, с пятном на кармане, которое не отстиралось бы, наверное, и за сто лет. И всё равно в нём я чувствовала себя увереннее, чем вчера в хорошем платье перед Советом.

— Я принимаю замёрзших и голодных, — сказала я. —

Если у них есть метка, она пришла вместе с ними, а не вместо них.

Мара долго молчала. Потом поставила корзинку на прилавок.

— Я не против, Алиса. Только будьте осторожны. В верхнем доме уже недовольны.

Верхний дом.

Она не сказала “Рейнар”. Не сказала “Лиана”. Но мы обе поняли.

— Чем именно?

Мара понизила голос:

— Тем, что дым из вашей трубы виден всей дороге. Тем, что люди идут к вам. Тем, что дети... такие дети... сами находят этот дом.

У меня по спине прошёл холод.

— Сами?

Мара посмотрела на печь, и впервые я увидела на её лице не только тревогу, но и старую память. Так смотрят на место, о котором в детстве слышали шёпотом.

— Моя бабушка говорила, что раньше здесь всегда пахло хлебом. Даже ночью. Даже когда печь не топили. Если ребёнку некуда было идти, он будто чувствовал дорогу.

Я медленно повернулась к печи.

Серебряные узоры тлели спокойно.

Три маленьких следа внутри круга были видны всё яснее.

— Почему пекарню закрыли? — спросила я.

Мара сразу отвела взгляд.

— Не знаю.

— Знаете.

Её пальцы сжали ручку корзины.

— Знаю только, что после смерти Агнии старейшины велели не вспоминать старые порядки. Сказали, что стая теперь крепкая и сама решит, кого защищать.

— А кого не защищать?

Мара не ответила.

И этого хватило.

За её спиной хрустнул снег.

К пекарне шли трое.

Я узнала Борна ещё издали — по тяжёлой поступи, по меховой накидке, по серебряному знаку Совета на груди. Рядом с ним был молодой писарь с кожаной папкой и один из стражей Рейнара. Не самый старший, но достаточно сильный, чтобы всем было понятно: это не соседский визит.

Мара побледнела.

— Алиса...

— Идите домой, — тихо сказала я.

— Но...

— Мара, пожалуйста.

Она быстро наклонила голову и ушла боковой тропой, даже корзинку не забрала.

Я стояла на пороге и смотрела, как Борн приближается к пекарне. Внутри за моей спиной стало тихо. Слишком тихо

для дома, где ещё минуту назад трое детей спорили из-за телячьего волка.

Я не оборачивалась, но знала: Мир уже спрятал Тиму за прилавок, а Тая, упрямая маленькая Тая, наверняка снова ищет глазами что-нибудь, чем можно защищаться.

Борн остановился у нижней ступени, которую Гарт утром успел укрепить новой доской. Его взгляд скользнул по дыму из трубы, по очищенному крыльцу, по моему переднику, потом прошёл дальше — в глубину пекарни, туда, где горел очаг.

— Быстро обустроилась, Алиса.

Я услышала в его голосе не похвалу. Предупреждение.

— Дом не должен стоять холодным, — ответила я.

Писарь рядом с ним раскрыл папку и достал лист с печатью. Страж смотрел поверх моего плеча, но в дом не входил. Может, не хотел. А может, ждал приказа.

Борн поднял лист.

— Совет стаи получил сведения, что ты укрываешь детей с отметинами изгнания.

— Дети сами пришли к моему порогу.

— Именно это и вызывает беспокойство.

— То, что дети нашли тёплый дом?

Старейшина поджал губы. Он всегда не любил, когда простые слова вдруг становились сильнее правил.

— Не спорь с формулировками. Такие дети должны находиться под надзором общего приюта стаи до выяснения их

положения.

Из-за прилавка донёлся тихий испуганный звук. Кажется, Тима всхлипнул, и Тая тут же что-то прошептала ему на ухо.

Я не двинулась.

— Вчера Совет оставил мне эту пекарню.

— Верно.

— С правом проживания?

— Верно.

— Тогда объясните, на каком основании вы решаете, кому можно греться у моего очага.

Борн шагнул ближе. На его бороде блестели снежинки, глаза были жёсткими, но в глубине мелькнуло раздражение. Он ожидал, что я буду испуганной. После вчерашнего, после изгнания, после ночи в заброшенном доме. Возможно, он даже рассчитывал, что достаточно будет печати и строгого голоса.

А я действительно боялась.

Только страх за детей оказался крепче страха за себя.

— Алиса, — сказал он ниже. — Не забывай своё положение.

Я посмотрела на него прямо.

— Моё положение я хорошо запомнила вчера.

Эти слова повисли между нами. Страж шевельнулся, писарь замер с листом в руках. Борн чуть сузил глаза, и на мгновение мне показалось, что он скажет что-то резкое, грубое, настоящее.

Но он умел держать лицо не хуже Лианы.

— Утром дети должны быть переданы в общий приют, — произнёс он. — Мир, Тая и Тимофей. Все трое.

У меня холод прошёл по пальцам.

— Вы уже знаете их имена.

— Совет знает то, что обязан знать.

— Тогда Совет знал, что они были на улице.

Борн молчал.

Я услышала за спиной движение. Мир вышел первым. Я поняла это по тому, как взгляд стража опустился ниже и стал осторожнее. За Миром показалась Тая, держа Тиму за руку. Все трое стояли у печи, освещённые тёплым огнём, с мукой на руках, с уставшими лицами, с метками, которые не могли скрыть полностью.

Но теперь они были не в снегу.

Не под забором.

Не за чужим порогом.

Они были у очага.

Печь вдруг треснула громче. Серебряные узоры вспыхнули, и тонкие линии по камню на миг сложились в широкий круг. Свет от него прошёл по полу — мягкий, лунный, почти прозрачный — и остановился у моих ног.

Борн увидел.

Писарь тоже.

Страж побледнел так резко, будто перед ним распахнулась дверь туда, куда он не хотел смотреть.

Старейшина медленно опустил лист.

— Где ты это взяла? — спросил он.

Я не поняла.

— Что?

Он смотрел не на меня. На печь.

— Кто разрешил тебе разжечь старый круг?

За моей спиной Тима тихо заплакал, Тая сжала его ладонь,

Мир сделал шаг ближе ко мне.

А я стояла на пороге пекарни, которая всего за два дня перестала быть просто ссылкой для отвергнутой жены, и впервые ясно поняла: Совет хотел забрать не только детей.

Совет боялся, что дом вспомнил своё настоящее назначение.

Глава 3. Волчата не товар

— Кто разрешил тебе разжечь старый круг?

Борн произнёс это так, будто я не огонь в печи развела, а распахнула запертую дверь в самую тёмную часть волчьего дома. До этого он говорил со мной как старейшина с женщиной, которую легко поставить на место. Теперь в его голосе появилась другая нота — не просто злость, а страх, спрятанный под привычной властью.

Я стояла на пороге, чувствуя спиной тепло пекарни и маленькое, неровное дыхание детей. Мир был ближе всех. Я не видела его лица, но знала, что он смотрит на Борна снизу вверх тем взглядом, каким дети смотрят на взрослых, уже заранее ожидая удара словом. Тая молчала, крепко держа Тиму за руку, а Тима всхлипывал совсем тихо, боясь даже плакать громко.

Серебряный круг у печи не гас.

Он лежал на полу мягким светом, доходил до моих ног и будто не позволял мне отступить. Не толкал, не приказывал. Просто напоминал: за моей спиной не пустая комната, не старая развалюха, которую Совет вчера милостиво бросил отвергнутой жене, а очаг, у которого впервые за долгое время согрелись дети.

— Я разожгла печь, — сказала я. — Не круг.

Борн медленно поднял глаза от светящихся линий к мое-

му лицу.

— Не играй словами.

— Я не играю. Я пришла в дом, где было холодно, и развела огонь. Если ваш круг проснулся от этого, значит, он был здесь до меня.

Писарь рядом с ним сглотнул. Страж, тот самый, что пришёл с Борном, переместил вес с ноги на ногу, но на крыльцо не поднялся. Я видела, как он старался смотреть не на печь, а на Борна, будто ждал от старейшины объяснения, которое вернёт всему привычный порядок.

Борн шагнул к двери, и дети за моей спиной сразу подались назад.

Я подняла руку и упёрлась ладонью в косяк, не преграждая ему дорогу по-настоящему, но и не отступая.

— В дом не входите.

Его брови сошлись.

— Ты забываешься.

— Нет, — ответила я, и голос мой прозвучал тише, чем я ожидала, но твёрдо. — Я хорошо помню. Вчера вы оставили мне эту пекарню. Сказали, стены крепкие, при желании можно привести в порядок. Я привожу. А в моём доме дети не должны бояться каждого взрослого голоса.

Борн посмотрел поверх моего плеча.

— Эти дети принадлежат стае.

Тая резко вдохнула. Не плач. Не испуг даже. Злость. Маленькая, дикая, сжатая в кулачках.

Я обернулась ровно настолько, чтобы увидеть её лицо. Щёки у девочки побледнели, подбородок задрался, а глаза стали почти волчьими — золотистыми, сердитыми, полными той взрослой ненависти, которая слишком рано появляется у детей, если им часто напоминают, что они не свои.

— Дети не принадлежат никому, — сказала я, снова глядя на Борна. — Их можно защищать. Можно растить. Можно учить держаться рядом. Но их нельзя передавать, как мешки с мукой.

— Не тебе рассуждать о законах стаи.

— Тогда расскажите мне закон, по которому ребёнка можно оставить на снегу, а потом прийти за ним только потому, что он нашёл тепло.

Лицо Борна стало жёстким. Снежинки на его бороде таяли, оставляя влажные точки, и вдруг он показался мне не всесильным старейшиной, а старым человеком, который слишком долго сторожил чужую тайну и теперь испугался, что она сама вышла к свету.

— Утром, — повторил он, уже не так громко, — все трое будут переданы в общий приют. Ты получишь сопровождение. Писарь оформит передачу. Не усложняй своё положение ещё сильнее.

Снова это слово.

Не усложняй.

Рейнар вчера сказал так же, и от воспоминания внутри всё сжалось. На миг я будто снова оказалась в зале Совета: ка-

менный очаг, белая шаль Лианы, холодные глаза мужчины, который выбрал не меня. Но теперь за моей спиной стояли дети, и их страх не давал мне провалиться в собственную боль.

— Нет, — сказала я.

Борн прищурился.

— Что?

— Утром я не передам вам детей.

Писарь замер с раскрытым листом. Страж поднял голову. Даже снег будто перестал шуршать по крыльцу.

— Алиса, — произнёс Борн медленно, — ты понимаешь, кому отказываешь?

Я понимала.

Совету. Стае. Порядку, который вчера одним решением вычеркнул меня из прежней жизни. Мужчине, за которым стояли печати, стража, родовые правила и молчаливое согласие тех, кто боялся спорить.

И всё же я не смогла сказать иначе.

— Я отказываю тем, кто знал их имена, но не знал, где они ночуют.

Удар пришёл не сразу. Сначала Борн побледнел. Потом его лицо закрылось, как дверь с тяжёлым засовом.

— Ты пожалеешь о дерзости.

— Возможно.

— Альфа узнает.

На имени Рейнара воздух будто стал плотнее. Я почув-

ствовала, как Мир дёрнулся за моей спиной, а Тая, наоборот, перестала даже дышать. Для них альфа был не мужчиной из моей прошлой жизни. Он был силой, которая могла прийти и решить. Забрать. Приказать. Поставить печать.

Я тоже боялась этого.

Но если страх перед Рейнаром заставит меня сейчас отступить, то чем я буду лучше тех, кто молчал вчера в зале?

— Пусть узнает, — сказала я.

Борн смотрел на меня ещё несколько мгновений. Потом медленно свернул лист и передал его писарю.

— До рассвета подумай. После рассвета это будет уже не просьба Совета.

— Это и сейчас не просьба.

Он не ответил. Развернулся так резко, что меховая накидка взметнула снежную пыль с нижней ступени. Писарь поспешил за ним, прижимая папку к груди, а страж задержался на миг. Его взгляд скользнул по мне, по детям у печи, по серебряному кругу на полу. В глазах его было что-то странное — не сочувствие, нет, до этого далеко. Скорее узнавание. Будто он видел не меня, а что-то, о чём ему в детстве велели не спрашивать.

Потом он тоже ушёл.

Я закрыла дверь только после того, как их шаги стихли за поворотом дороги.

В пекарне сразу стало слышно, как горит печь.

Не просто потрескивает — дышит. Глубоко, ровно, как

живое существо, которое сдерживалось при чужих, а теперь снова позволило себе быть тёплым.

Я стояла у двери, держась за засов, и только тогда поняла, что руки у меня дрожат. Сильно. Так сильно, что железо постукивало о дерево.

— Они вернутся? — спросил Тима.

Я обернулась.

Он смотрел на меня из-за Таи, маленький, круглолицый, с мукой на рукаве и меткой на запястье. Тая держала его плечо, но сама была белее полотна. Мир стоял чуть впереди, будто решил быть старшим, хотя дрожал не меньше остальных.

Мне хотелось сказать: нет. Не вернутся. Я не позволю. Всё будет хорошо.

Но дети слишком часто слышали красивые неправды.

Я подошла к ним и опустилась на корточки, чтобы не нависать сверху.

— Вернутся, — сказала я. — Скорее всего, утром.

Тима всхлипнул.

Тая сразу вскинула подбородок:

— Я могу уйти. Я знаю ход за старым амбаром. Если Мир возьмёт Тиму, мы успеем до леса.

— Нет.

— Там нас не найдут.

— Найдут.

— Не сразу.

— Тая.

Она замолчала, но глаза сверкали. В её маленьком лице было столько готовности бежать, кусаться, прятаться в снегу и снова выживать, что я вдруг захотела взять её за плечи и сказать: хватит. Ты ребёнок. Ты не должна всё время быть стеной для тех, кто младше.

Но она не поверила бы таким словам. Пока не поверила бы.

— Здесь есть печь, — сказала я. — Дверь. Засов. Я. И старый круг, который Совет почему-то боится. Это больше, чем тёмный лес.

Мир нахмурился.

— А если альфа придёт?

Я встретила его взгляд.

— Тогда я буду говорить с альфой.

— Он всегда делает, как говорит Совет?

Вопрос был детский, прямой, но ударил сильнее многих взрослых обвинений.

Вчера мне казалось, что да. Рейнар стоял перед старейшинами и повторял жестокие слова так ровно, будто они давно лежали у него на языке. Он позволил Борну объявить меня лишней. Позволил Лиане стоять рядом. Позволил всему дому увидеть, что больше не защищает меня.

И всё же я помнила его руку на окне, когда повозка увозила меня вниз по дороге. Помнила силуэт, который не двинулся. Не позвал. Не остановил.

Это не было оправданием.

Но это была заноза: может быть, не всё в этом решении было таким простым, как хотела показать Лиана.

— Не знаю, — ответила я честно. — Но узнаю.

Тая фыркнула.

— Взрослые всегда говорят “узнаю”, когда ничего не могут.

— Часто, — согласилась я.

Она не ожидала согласия и поэтому растерялась.

— Но я могу одно, — продолжила я. — Сегодня вы спите здесь. Никто не поведёт вас в приют ночью. Никто не выгонит на снег. А утром я не спрячусь за дверью и не сделаю вид, что сама не слышу, как вы боитесь.

Тая смотрела на меня долго. Потом медленно опустила обломок доски, который всё ещё держала в руке.

— В приюте хуже, — сказала она почти беззвучно.

Мир сразу посмотрел на неё, но не перебил.

— Там не быют каждый день, если ты об этом, — продолжила Тая, глядя в сторону, будто говорила не со мной, а с огнём. — Но там холодно. И все считают. Куски считают, шаги считают, слова считают. Если Тима плачет — записывают. Если Мир молчит — записывают. Если я злюсь — говорят, что метка берёт своё.

Она резко замолчала, будто сказала слишком много.

Я медленно встала. Внутри поднималась злость, но не горячая, которая толкает на крик, а тяжёлая и собранная. Та-

кая злость помогает не упасть.

— Тогда сегодня мы будем не считать, — сказала я. — Сегодня у нас будет ужин. Потом я постелю вам наверху. А ещё нам нужно испечь что-нибудь к утру.

Мир удивлённо поднял голову.

— Зачем?

— Потому что если утром придут забирать вас от очага, у очага должен быть свой голос.

— Хлеб умеет говорить? — тихо спросил Тима.

Я посмотрела на печь, на серебряные следы в круге, на кадку с тестом, которое поднялось вдвое быстрее обычного.

— В этом доме, кажется, умеет.

Мы принялись за работу не потому, что я была спокойна. Совсем нет. Страх ходил рядом, садился на плечи, шептал, что утром перед дверью может стоять не Борн с писарём, а Рейнар со стражей. Что право Совета сильнее старой печи. Что я одна, а дети слишком маленькие, чтобы понимать цену моего упрямства.

Но работа не давала страху стать хозяином.

Я достала оставшуюся муку, яблоки из корзинки Мары, немного соли, яйца от соседской бабки. Тая вызвалась чистить яблоки маленьким ножом и делала это так ловко, будто уже много раз помогала на чужих кухнях, где ей не позволяли задерживаться у стола. Мир месил тесто рядом со мной, слишком серьёзно нахмутив лоб, а Тима сидел на лавке и раскладывал очищенные яблочные дольки по миске, каждый

раз спрашивая, можно ли съесть “самую маленькую, которая всё равно никому не нужна”.

— В этом доме ненужных долек нет, — сказала я.

Тима подумал и положил дольку обратно.

— А можно я буду нужный и всё равно съем?

Тая неожиданно прыснула. Мир улыбнулся в тесто, а я впервые за весь день рассмеялась без горечи.

— Можно. Но одну.

Тима выбрал, конечно, самую большую.

Печь разгоралась ярче, пока мы работали. Серебряные линии на камне не вспыхивали резко, но становились глубже, как узор на ткани, который проявляется, если поднести его к свету. Я заметила, что круг у печи теплеет каждый раз, когда дети перестают следить за дверью и начинают спорить о чём-то обычном: кому мыть миску, как назвать кривой пирожок, почему Мир ставит поленья “лицом” к стене, если у поленьев лица нет.

— Есть, — упрямо сказал Мир. — Вот это сердитое.

Он показал на полено с сучком.

Тима сразу придвинулся ближе.

— А это?

— Это сонное.

— А это?

— Это вообще Борн.

Тая так громко хмыкнула, что я обернулась.

— Мир.

Он виновато посмотрел на меня.

— Я тихо сказал.

— Я слышала.

— Простите.

Он сразу опустил голову, и улыбка ушла с его лица. Я вытерла руки о передник и подошла к нему.

— Мир, я не ругаю. Просто если Борн узнает, что у нас тут есть полено с его именем, он может обидеться на печь.

Тая закрыла рот ладонью, чтобы не рассмеяться. Тима посмотрел на полено с уважением.

— Тогда его первым в огонь?

— Нет, — сказала я. — Даже если очень хочется, мы не будем начинать с Борна.

Смех вышел осторожным, как первый огонь ночью, но всё-таки вышел. И в этот миг пекарня стала почти настоящим домом. Не потому, что в ней исчезли щели, починилась крыша или появились запасы. А потому, что страх на несколько минут отступил к стенам и не смог забрать весь воздух.

Мы пекли до поздней ночи.

Яблочные пирожки получились неровными, но румяными. Несколько лепёшек я сделала с тонкими надрезами в виде колосьев, как когда-то для волчьего дома, но рука сама изменила узор — колосья сомкнулись в круг, а внутри получилось три маленьких следа. Я заметила это только после того, как поставила противень на камень.

Тая тоже заметила.

— Ты специально?

— Нет.

Она подошла ближе и осторожно коснулась края одного пирожка, ещё не горячего.

— Агния такие делала.

Я замерла.

— Ты помнишь Агнию?

Тая сжала губы.

Мир перестал месить остатки теста. Тима, кажется, вообще перестал жевать яблоко.

Я не стала подходить ближе. Только убрала руки от стола, чтобы девочка не решила, будто я сейчас начну вытаскивать из неё правду силой.

— Тая, мне нужно понимать, что происходит. Не всё. Только то, что поможет вам.

Она долго смотрела на печь.

— Я не помню её. Я маленькая была. Но Мир помнит запах.

Мир испуганно поднял глаза.

— Я не...

— Помнишь, — упрямо сказала Тая. — Ты сам говорил. Там всегда пахло хлебом, когда нас приводили греться. А потом нас больше не привели.

— Кто приводил? — спросила я.

Мир растерянно сжал пальцы, покрытые мукой.

— Не знаю. Женщина. Седая. Она пела, когда тесто делала.

— Агния?

Он пожал плечами.

— Может. Я плохо помню. Там было тепло. А потом нас забрали.

— Кто?

Тая ответила вместо него:

— Совет.

Печь тихо треснула.

— Сказали, что старые порядки закончились, — продолжила она. — Что меченые должны быть отдельно, пока старшие не решат, можно ли их вернуть в стаю.

— А решили?

Тая посмотрела на меня так, будто я спросила глупость.

— Никого не возвращают.

Слова легли между нами тяжело. Даже Тима перестал жевать и опустил яблоко на колени.

Я хотела спросить ещё. Сколько детей? Где остальные? Почему метки появились именно у них? Почему Рейнар, альфа, позволил старейшинам делать это? Знал ли он? Или ему показывали только чистые листы, ровные отчёты и удобные формулировки, как вчера показали мне моё изгнание?

Но дети уже сказали больше, чем могли вынести.

— Пирожки подгорят, — напомнил Мир.

Я очнулась и быстро вытащила противень.

Запах яблок, теста и печного жара разошёлся по пекарне густо, сладко, почти празднично. Тима тут же оживился, Тая сделала вид, что ей всё равно, но глазами следила за каждым пирожком, а Мир аккуратно отступил к лавке, словно боялся случайно попросить слишком много.

Я разделила всё поровну.

Не по возрасту. Не по старшинству. Не по пользе.

Поровну.

Тая смотрела, как я кладу каждому на тарелку, и вдруг спросила:

— А тебе?

— Я потом.

— Так говорят, когда не останется.

Я вздохнула и положила один пирожок себе.

— Тогда так честно?

Она кивнула.

Мы ели молча. Горячее яблоко обжигало язык, корка хрустела, Тима тихо сопел от удовольствия, а Мир держал свой пирожок двумя руками, будто это было что-то драгоценное. Я ела и думала, что завтра, возможно, этот стол снова станет местом боя. Но сегодня дети ели у печи. И это было важнее всех моих страхов.

Спать они согласились только все вместе.

Наверху я постелила на полу всё, что нашлось: плащ, старое одеяло Мары, куски плотной ткани, свою запасную юбку. Тая легла у двери, хотя я не просила. Мир устроился ближе к

Тиме, а Тима, уже почти засыпая, потянулся рукой к моему рукаву.

— Ты тоже тут?

— Я внизу у печи.

Он нахмурился сонно.

— Чтобы Борн не унёс?

— Чтобы печь не скучала.

Тима принял это объяснение и закрыл глаза.

Я спустилась вниз, когда дети наконец уснули. Пекарня была тиха. За окнами шёл снег, крупный, мягкий, будто ночь пыталась укрыть следы тех, кто приходил сюда с угрозами. Я села у печи, подтянула колени и позволила себе устать.

Не плакать. Слёз не было.

Только устать.

Перед рассветом я всё-таки задремала, а проснулась от стука в переднюю дверь.

На этот раз стук был не детский.

Тяжёлый, уверенный, сдержанный. Так стучали не те, кто просил впустить, а те, кто заранее знал: дверь откроют.

Я поднялась медленно. Тело ломило от пола, глаза слипались, но страх мгновенно стал острым. На лестнице наверху скрипнула доска — Тая тоже проснулась.

— Не спускайтесь, — сказала я негромко, но знала, что волчьи уши услышат.

— Алиса... — прошептал Мир.

— Тихо. Я открою.

Я поправила передник, хотя это было смешно. Передник старый, платье мятое, волосы заплетены кое-как, под глазами, наверное, тени. Не вид хозяйки, которая готова принимать альфу или Совет. Но это был мой дом. Моя печь горела за спиной. На столе лежали пирожки, испечённые нашими руками. И на верхнем этаже спали дети, которых я не собиралась отдавать без слова.

Я сняла засов.

На пороге стоял Рейнар.

Не Борн. Не писарь. Не страж с холодным приказом.

Рейнар.

Серое утро за его спиной делало лицо резче, жёстче, старше. На плечах лежал тёмный меховой плащ, волосы были влажными от снега, сапоги в дорожной грязи. Он выглядел так, будто пришёл не из волчьего дома по расчищенной дороге, а из долгой ночи, где тоже не спал.

Моё сердце предательски ударило сильнее.

Я ненавидела себя за это мгновение. За то, что боль не убила память тела. За то, что я всё ещё знала линию его плеч, складку между бровями, запах морозного воздуха и леса, который входил вместе с ним. За то, что часть меня, самая глухая и раненая, всё ещё ждала: сейчас он скажет, что вчера ошибся.

Он не сказал.

— Алиса.

Одно моё имя.

Без “жена”. Без “хозяйка”. Без той мягкости, которая когда-то была только для меня.

Я держала дверь ровно настолько открытой, чтобы он видел меня, но не детей и не весь дом.

— Рейнар.

Его взгляд прошёл по моему лицу, задержался на усталых глазах, на муке у меня на рукаве, на старом переднике. Потом скользнул за мою спину, туда, где печь светилась ровно и тепло.

— Борн сказал, ты отказалась выполнить распоряжение Совета.

— Борн сказал правду.

— Ты укрываешь меченых детей.

— Я впустила замёрзших детей.

Он чуть сжал челюсть.

— Не повторяй заученные слова.

Вот тут во мне что-то вспыхнуло.

Не громко. Не бурно. Просто достаточно, чтобы усталость отступила.

— Это мои слова, Рейнар. У меня теперь нет дома, полного советников, служанок и ваших родовых книг, чтобы кто-то заучивал их за меня.

Он принял удар молча. Только в глазах что-то дрогнуло, но быстро исчезло.

— Я пришёл не спорить.

— Тогда зачем?

— Забрать детей до решения Совета.

Наверху тихо скрипнула доска.

Рейнар услышал. Конечно, услышал. Его взгляд поднялся к потолку, потом вернулся ко мне. В лице не стало мягче, но в нём появилась внимательность охотника, уловившего движение в тёмном лесу.

Я шагнула в проём, закрывая собой вход.

— Нет.

— Алиса.

— Нет, Рейнар.

Он медленно выдохнул. Я видела, как он сдерживает раздражение, как старается говорить ровно, будто перед ним не женщина, которую он вчера публично лишил места, а просто упрямая жительница стаи.

— Ты не понимаешь, во что вмешиваешься.

— Тогда объясни.

Пауза.

Слишком длинная.

За этой паузой снова стояло всё, что мне не говорили. Борн вчера. Рейнар в зале Совета. Мара, которая боялась вспоминать старые порядки. Тая, уверенная, что из приюта никого не возвращают. Агния, исчезнувшая вместе со своим тёплым домом.

— Сейчас не время, — сказал Рейнар.

Я усмехнулась, но без радости.

— Для меня у всех никогда не время. Вчера не время объ-

яснить, почему я больше не жена. Сегодня не время объяснить, почему дети с метками должны исчезнуть из тёплого дома. Завтра, наверное, будет не время спрашивать, куда их увезли.

Его глаза потемнели.

— Никто не собирается их увозить неизвестно куда.

— Откуда ты знаешь?

— Я альфа.

— А я вчера была твоей женой, — сказала я. — Это не помогло мне узнать правду.

Слова попали. Я увидела это. Рейнар чуть отступил взглядом, будто не физически, а внутри, туда, где всё ещё могло болеть. Но он быстро вернулся к прежней жёсткости.

— Дети с такими отметинами нестабильны.

— Они голодные. Испуганные. Недоверчивые. Но не товар и не угроза только потому, что Совет поставил на них слово “меченые”.

— Метки ставит не Совет.

— Тогда кто?

Он молчал.

Внутри пекарни тихо шмыгнул Тима. Потом раздался шёпот Таи, резкий и испуганный:

— Тихо.

Рейнар снова посмотрел вверх. Его лицо изменилось не сразу. Сначала на нём было только напряжение. Потом — удивление. Потом что-то более глубокое, почти болезнен-

ное.

— Их трое?

— Борн разве не доложил?

— Доложил.

— Тогда зачем спрашиваешь?

Он посмотрел на меня, и на миг я увидела не альфу, не мужчину, который вчера отгородил от меня Лиану, а человека, который вдруг понял, что бумага Совета и детское дыхание за стеной — не одно и то же.

Но это мгновение быстро прошло.

— Я должен их увидеть.

— Они тебя боятся.

— Я не причиню им вреда.

— Ты приказом заберёшь их туда, куда они не хотят.

— Я сказал: до решения Совета.

— А я сказала: нет.

Мы стояли друг напротив друга на пороге старой пекарни, и между нами было больше, чем вчерашнее отвержение. Между нами были три ребёнка наверху, старый круг у печи, страхи, о которых никто не говорил вслух, и та страшная пустота, которая осталась на месте нашего брака.

Рейнар вдруг сделал шаг вперёд.

Не угрожающе. Но достаточно, чтобы я поняла: он привык, что перед ним отступают.

Я не отступила.

Он остановился так близко, что я почувствовала холод,

принесённый его плащом. В этом холоде был лес, снег, кожа перчаток и еле уловимый запах волка — тот самый, от которого раньше мне становилось спокойно. Теперь от него стало больно.

— Не заставляй меня входить приказом, — сказал он тихо.

Я подняла голову.

— А ты не заставляй меня снова увидеть в тебе мужчину, который умеет только отнимать.

Его лицо дрогнуло.

Рейнар открыл рот, но не успел ответить.

Сверху сорвался детский вскрик.

Тима.

Я резко обернулась. По лестнице уже бежала Тая, босая, с растрёпанными волосами, вцепившись одной рукой в перила.

— Не отдавайте! — крикнула она. — Он не виноват, он просто испугался!

За ней показался Мир, пытаясь удержать Тиму, но малыш вырвался. Он сбежал вниз неуклюже, едва не падая на ступенях, и бросился ко мне так отчаянно, что я едва успела подхватить его.

Тима вцепился мне в юбку обеими руками, спрятал лицо в ткань и затрясся.

— Не хочу в приют, — задыхаясь, говорил он. — Я тихо буду, я хлеб не возьму, я не буду плакать, только не туда.

Рейнар замер.

Я почувствовала это, даже не глядя на него. Замер не как альфа перед непослушанием. Как мужчина, который впервые услышал то, чего не было в отчётах.

Я опустила на колени и обняла Тиму.

— Тихо. Никто сейчас тебя не забирает.

— Забирает. Он альфа.

Слова были сказаны в моё платье, глухо, детским дрожащим голосом.

Я подняла глаза на Рейнара.

Он стоял на пороге, очень прямой, очень бледный, и смотрел на ребёнка так, будто перед ним была не метка, не распоряжение Совета, а маленькое существо, которое боялось его имени больше ночного снега.

— Как тебя зовут? — спросил он.

Тима только сильнее вжался в меня.

Тая встала рядом, выставив подбородок.

— Тимофей. Но он не любит, когда так.

— А как любит?

Она молчала.

Мир тихо ответил:

— Тима.

Рейнар перевёл взгляд на Мира. Увидел его метку на шее, слишком большую обувь, рукава, измазанные мукой. Потом на Таю — худую, настороженную, готовую закрыть собой младшего от взрослого мужчины, которого вся стая называ-

ла защитником.

— Вас кормили в приюте? — спросил он.

Тая сразу прищурилась.

— Да.

— Тая, — тихо сказал Мир.

— Что? Кормили. Иногда.

Рейнар медленно сжал руку в перчатке.

— Где смотритель?

— А вы не знаете? — спросила Тая.

В её голосе было столько горькой детской злости, что я испугалась за неё. Но Рейнар не вспыхнул. Не оборвал. Не приказал молчать.

Он просто смотрел.

— Нет, — сказал он. — Не знаю.

Тая усмехнулась, совсем как взрослая.

— Тогда зачем вы альфа?

В пекарне стало тихо.

Я закрыла глаза на мгновение. Если бы эти слова сказала я, Рейнар, возможно, ответил бы резко. Если бы их сказал старейшина, начался бы спор о власти. Но это сказала восьмилетняя девочка с меткой изгнанной, босая на холодном полу, с младшим братом за моей спиной.

И Рейнар не нашёл ответа сразу.

Он посмотрел на печь.

Свет старого круга лежал у его сапог, но не переходил через порог. Я заметила это и вдруг поняла: дом не пускал его

не потому, что дверь была закрыта. Круг ждал чего-то. Слова? Решения? Признания? Я не знала. Но Рейнар тоже это заметил.

— Старый круг, — произнёс он негромко.

— Борн сказал так же.

— Борн не должен был приходить без меня.

— Но пришёл.

Рейнар перевёл взгляд на меня.

— Я узнал утром.

— И сразу пришёл забрать детей?

Он помолчал.

— Я пришёл понять, почему Совет поднял тревогу из-за заброшенной пекарни.

— Теперь понял?

Его глаза скользнули по столу с остывшими пирожками, по муке на полу, по детским следам у печи, по старому переднику на мне. На миг в его взгляде мелькнуло что-то похожее на память. Возможно, он вспомнил волчий дом и меня у большого стола, когда я ещё распоряжалась чужими запасами, чужим теплом, чужой жизнью так, будто это было наше общее.

— Нет, — сказал он. — Не до конца.

Я поднялась, всё ещё удерживая Тиму за плечи.

— Тогда слушай. Эти дети пришли сами. Первый — ночью, к порогу, босой почти по снегу. Двое других — через задний двор, потому что хотели есть. Они не просили власти.

Не просили нарушать порядок. Они просили огня и хлеба. Если твой Совет считает это угрозой, значит, проблема не в детях.

Рейнар смотрел на меня так внимательно, что я едва не сбилась. Раньше, когда он так смотрел, мне хотелось говорить тише, ближе, только для него. Теперь приходилось удерживать каждый звук ровным.

— Алиса...

— Нет. Ты сейчас слушаешь. Вчера ты сказал, что так нужно для стаи. Сегодня я спрашиваю: для какой стаи? Для той, где дети с метками прячутся по дворам? Для той, где старейшины знают их имена, но не знают, ели ли они? Для той, где отвергнутой женщине дают мёртвый дом, а потом пугаются, когда он оживает?

Он шагнул через порог.

Серебряный круг на полу вспыхнул.

Не ярко, не угрожающе. Просто свет поднялся тонкой линией между ним и печью, и Рейнар остановился. Тима снова пискнул и спрятался за меня. Тая раскрыла глаза, Мир прошептал что-то совсем тихо, может, имя печи, а может, просто выдохнул от страха.

Рейнар посмотрел вниз.

— Он не пускает меня.

В его голосе впервые не было приказа. Только удивление.

— Может, старый круг тоже не любит, когда детей забирают от очага, — сказала Тая.

Я бросила на неё предупреждающий взгляд, но Рейнар услышал.

Он медленно снял перчатку с правой руки. Я напряглась. Он заметил это и остановился.

— Я не трону их.

— Ты уже сказал, что пришёл забрать.

— Я сказал то, с чем пришёл.

— А теперь?

Он посмотрел на Тиму, который всё ещё держался за мою юбку. Потом на Таю, стоявшую рядом слишком прямо. Потом на Мира, который молчал у печи и сжимал в руках полотенце, будто это могло стать щитом.

— Теперь я хочу увидеть приют сам.

Я не ожидала этих слов.

Тая тоже. Она недоверчиво покосилась на него.

— Зачем?

— Потому что альфа должен знать, чего боятся дети его стаи.

Сказано было правильно. Почти красиво. Но доверие не возвращалось от правильных фраз.

— Это нужно было сделать раньше, — сказала я.

Рейнар принял и это.

— Да.

Одно короткое слово оказалось тяжелее длинных оправданий.

Я не знала, что с ним делать. Вчера он разрушил мою

жизнь. Сегодня стоял на пороге и впервые признавал, пусть не перед Советом, не перед всей стаей, а только здесь, среди муки, яблочных пирожков и трёх испуганных волчат, что чего-то не знал. Чего-то не сделал. Чего-то не увидел.

Это не меняло прошлого.

Но меняло утро.

— Дети останутся здесь до твоего возвращения, — сказала я.

Рейнар посмотрел на меня.

— До моего решения.

— Нет. До твоего возвращения. Решение о том, будут ли они снова ночевать в страхе, ты не примешь за них и без них.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.